

18+

АННА-НИНА КОВАЛЕНКО

КАПЛИ В ОКЕАНЕ

МОРЕ БОЛЬШОЙ БЕЗОТВЕТНОЙ
ЛЮБВИ

Анна-Нина Коваленко

**Капли в океане. Море
Большой Безответной Любви**

«Издательские решения»

Коваленко А.

Капли в океане. Море Большой Безответной Любви /
А. Коваленко — «Издательские решения»,

В этой книге собраны рассказы и очерки — о характерах и событиях,
слышанных или встреченных автором в разные периоды жизни. Книга
содержит нецензурную брань.

Содержание

КАПЛИ В ОКЕАНЕ	7
БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЫЛЬНЫЕ ДОРОГИ	8
ГОРОДА И ГОДЫ ХУДОЖНИКА ФЮРЕРА	10
БОЛОТНАЯ САГА	12
ИЩДАВИКАС	14
СЕРЕБРЯНЫЕ ЛОЖКИ	17
БЕЗРУКИЕ МАТЕРИ	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Капли в океане Море Большой Безответной Любви

Анна-Нина Коваленко

© Анна-Нина Коваленко, 2026

ISBN 978-5-0071-4328-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Анна-Нина КОВАЛЕНКО

КАПЛИ В ОКЕАНЕ

«Жизнь человека подобна траве...» — Псалом 102: 15—15.

(«Сии слова выражены по свойству Еврейского языка, а полнее читать должно так: дние человека яко трава: яко цвет сельный, тако оцветёт. Егда бо ветер приидет на него, се (уже) несть его, ниже познает его ктому место его» -Ириней (Клементьевский) архиепископ, толкование на группу стихов Пс.102: 15—15)

Возможно, когда-то человека можно было сравнивать с травой или с полевым цветком, имеющим корни. Но в наше беспокойное время, рассеянное по миру человечество корней не имеет, и его, то есть нас вернее сравнивать с каплями в океане Жизни, возникающими на поверхности и исчезающими в круговороте себе подобных

БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЫЛЬНЫЕ ДОРОГИ

...Мне кажется, вся моя жизнь могла бы уместиться в десятиминутное произведение — отрывок их Моцарта — кажется, К-364 Simfonia Concertante, Andante.

Мучительно хотелось знать, понимать значения слов, которыми взрослые наполняли окружающее пространство.

Однажды приснились белые гуси с красными глазами. Один из них подошёл близко-близко к моей люльке и прошипел, представляясь:

— Ш-ш-школьник...

...Я в кровати, пытаюсь встать и дотянуться до (всё мое существо стремится к этому объекту) ярко-красной пятиконечной звёздочки на чём-то сером, то ли на шинели, то ли на фуражке (пилотке?), на чём-то сером, брошенном на плоскость койки справа. У противоположной стены шум-гул: это люди, взрослые, которым нет никакого дела до меня и моего влечения, да и я не в состоянии высказать...

Годы спустя я поняла, что то было прощание с маминым младшим братом, дядей Лёней, который уходил добровольцем в Сталинград (мой отец ушёл на фронт раньше, но я не помню как), это было в городке Белово, в бараке, где у мамы была комната. А звёздочка принадлежала его, дяди Лёни, униформе.

Потом в деревне, там, где бабушка... Жили-были эвакуированные из Москвы и Ленинграда. В доме у речки, у тётыньки Софьи, жила семья из трёх человек: бабушка, мама, и девочка постарше меня. Звали её... Впрочем, это не имеет никакого значения.* (* Ната. Ната Егорова.) Они пригласили меня как-то к себе — думаю, после наших встреч и игр с их девочкой в бурьяне. Передо мной открылся волшебный мир: игрушки! Полная комната красивых игрушек, и всё это — собственность моей столичной подруги! Меня угостили чем-то сладким, и даже подарили крошечного гуттаперчевого утёнка. Но...

Но я влюбилась в большую красивую куклу, истинную королеву этого игрушечного мира. И вот, уходя, я — как мне казалось, незаметно для хозяев — прихватила свободной от утёнка рукой эту куклу...

Мне не дали уйти далеко — отняли куклу, и утёнка заодно, поколотили, обозвали (к счастью, я не понимала их выражений и не запомнила, наверное, «воровка», — поняла я лишь, ухватила неприветливые их интонации); выгнали.

Каким-то образом слух о моём проступке дошёл и до моих домашних, так что когда я вернулась домой, а вернее, приблизилась к нашей избе, мне добавили тумачков и выгнали вон: «Вон отсюда!» Вскарабкавшись на ворота с обратной, то есть с наружной стороны двора, я горько плакала. Откуда-то, по одной из бесконечных пыльных дорог, шёл человек в изношенной солдатской униформе и с деревянной ногой. Остановился у ворот со мною, спросил о причине слёз, и я ему рассказала всё как могла рассказывать, не помню как, но он всё понял. И сказал он мне в утешение:

— Вот погоди, кончится война, и мы с тобой пойдём на базар. Там купим тебе самую большую и красивую куклу!

Я представила себе тогда эти слова «кончится война» и «базар» так: Мы с этим дядей идём, идём, и приходим куда-то, где много-много чистого неба. С неба свисает огромная рыболовная сеть, гамак, а в этой сети-гамаке качается огромная красивая кукла, похожая на ту, что у девочки... Сеть-гамак — это «базар», а чистое небо — это «конец войны».

Дяденька ушёл, ковыляя по своей бесконечной и пыльной дороге. Больше я его никогда не встречала, не видела, но не забываю ни его, ни его обещания.

«Конец войны» же, как оказалось, это когда в избу ворвались мои две тёти — девчонки-школьницы, и крикнули бабушке:

— Мам, что-нибудь красное!

После некоторой суеты бабушка нашла и дала им розовый платок; девчонки, чуть подумав, сказали: «почти красный» и полезли на сарай, где это платок они прикрепили к палке. Я стояла на крыльце, и смотрела, как на соседних, то есть соседских сараях возникают красные, красноватые и розовые платки и шали... Платки и шали трепещут на ветру, и кто-то восклицает:

— Победа! Конец войны!

Потом эта девочка с игрушками и куклой уехала к себе в столицу к вернувшемуся откуда-то её папе. Мои же — папа и дядя Лёня, не вернулись. И этот дяденька, с деревянной ногой, я говорила...

Как и тот самый первый сон,

Где белые гуси с красными глазами.

ГОРОДА И ГОДЫ ХУДОЖНИКА ФЮРЕРА

Вена

Есть что-то роковое в том, что людей, принимающих крутые жизненные решения, как бы пронесит через Вену... Первое, что я увидела на Западе — это была Вена, со всеми её красивыми, сервированными собачьим дерьмом улицами, с её бутафорским пацифистом-юродивым, опустошающим иностранные кошельки (в пользу австрийской обороны), с её сосисками, конфетами, шпионами, притонами, толкучками, католиками, панками, утрированными празднествами, лицемерием, пустотой, взвешенностью, ожиданием...

В Вене мне встретился румяный и близорукий доктор Иоахим Юнг. Иоахим приехал сюда из Германии, получил место клерка и страшно боялся, что с ним не продлят контракта. Он говорил мне: «Я тоже беженец, как и Вы. Я не вернусь в Германию». В Германии он пережил душевную драму: любимая девушка Лора предпочла пожилого профессора. В Германии Иоахим был не более чем «херр», то-есть просто «господин Юнг». В Вене же к нему сразу стали обращаться «доктор»... — здесь так положено обращаться к занятым людям. Таким образом, Иоахим Юнг как бы заочно отомстил сексопильному профессору. Доктору часто не хватало на бутерброд — но ничего, родители присылали из далёкой Германии сыр, колбасу, сосиски, булочки, вареники, кальсоны...

Где ты, милый романтик, доктор Юнг?

Некогда впервые прибыл в Вену и молоденький Адольф Гитлер вскоре после того как он принял решение сделаться кем-нибудь, но только не чиновником. Вероятно, он не был так близорук как Юнг (точно не знаю). И он почувствовал в ней, то есть в Вене, пульс всей Империи с её опасным очарованием смеси народов. Здесь он начал работать чертёжником и акварелистом (1909—1910 гг.). Он мог бы многого достичь на этом поприще; и вообще, вместо репродукций и оригиналов Густава Климта, ныне на робких туристов могли бы взирать с каждой венской стены вызывающе красивые и смелые женские модели Адольфа. Но так получилось, что подающий надежды художник, наряду с буржуазией, стал содрогаться не от зрелища ужасающей бедности, а оттого, что какой-нибудь несчастный бродяга относился с полным безразличием к своей национальности. Я очень боюсь, что всё так и осталось поныне. Ни разу не слышала, чтобы один бездомный заявил другому: «Ты, убери свои ноги с моего тюфяка, не задевай моего национального чувства!» (Возможно, конечно, из-за отсутствия тюфяка). Или: «Эта помойка — только для такой-то этнической категории!» Женские же модели — пухлые и мягкие от австрийских сосисок и конфет — навели нашего художника на следующее обобщение: народ, мол, как женщина, предпочитает иметь на себе руку твёрдого повелителя, нежели слабого, которым можно вертеть, как угодно.

С такой вот мыслью он взял в руки чемодан с платьем и кальсонами, и пошел вперёд.

Мюнхен

(Об этом, говорят, писали, но я-то ведь не читала. И потом: о Ромео и Джульетте тоже писали.)

В 1926 году художник Юрий Юрьевич Габричевский получил интересную работу: делать зарисовки в тюрьме. Шёл процесс над Гитлером (он был судим много раз). Зарисовки нравились работникам юстиции. Нравились и Гитлеру. При случае Габричевский и Гитлер обменивались приветствиями, беседовали. Гитлер когда-то готовил себя к карьере архитектора, был неплохим рисовальщиком и акварелистом.

...Шли годы. Габричевский не выпускал из рук этюдника, Гитлер — чемодана.

В 1939 году чуткий патриот издал указ, согласно которому подлежали уничтожению все психически больные люди. (Он, вероятно, чем больше смотрел на таких людей, тем больше убеждался, что они ни в коем случае не могут быть германцами.) Юрия Юрьевича этот указ

не привёл в восторг: его старший брат, ещё более выдающийся художник, страдал психическим расстройством и попал в список подлежащих уничтожению. С отчаянной мыслью спасти брата Габричевский явился в канцелярию Гитлера. Последний не только узнал его, но и очень обрадовался и, называя «дорогим Юрием», усадил в кресло, для беседы об искусстве. Надо заметить, высказывания фюрера об искусстве были небезынтересными. Но Габричевского волновала судьба брата, и, посидев некоторое время в замечательном кресле, он вдруг прямо попросил Гитлера вычеркнуть «ради Бога» имя его брата из списка смертников.

Лицо фюрера помрачнело.

«Ответ на Ваш запрос Вы получите через мой секретариат», — сказал он сухо. Тема общения была исчерпана.

Через несколько дней позвонили и пригласили в упомянутый секретариат. Подтянутая секретарша уведомила Габричевского в том, что его просьба удовлетворена — брата вычеркнули из списка смертников. «Но, — прибавила секретарша, — как Вы могли огорчить фюрера? Он к Вам отнёсся так искренне, доверяя Вам самые сокровенные мысли об искусстве, а Вы стали докучать ему своими просьбами».

Габричевский, вероятно, долго потом казнил себя, вспоминая эту свою бестактность в отношении художника Гитлера.

Берлин

Шёл к концу 1944 год... Вдоль железнодорожной платформы гулял митрополит русской зарубежной церкви Владыко Серафим Ладэ. Он был в своем чёрном одеянии, в высоком белом клобуке; ждал поезда. На путях в это время стоял вагон-салон Гитлера. Выглянув из окна салона, фюрер обратил внимание на импозантную фигуру священника и приказал своим «красносапожникам» — личной охране — привести к нему сего субъекта, не вписывающегося в картину усреднённых достоинств единой нации.

Серафим без особого страха вошел в салон, сопровождаемый элегантными эсесовцами, и дал нужную случаю информацию о себе: кто, как зовут, кем служит.

— Ты немец? — с каким-то подозрением в голосе спросил фюрер.

— Русский, православный, — отвечал Серафим.

— Почему же тогда на немецком говоришь без акцента?

— Извини, сын мой, нас акценту не учили, — отвечал Владыко, легко и охотно переходя на «ты».

— Послушай, — обратился к Серафиму Гитлер, как ты думаешь: выиграю я войну?

— Ты её уже проиграл, — отрезал тот.

— Смотри же: выиграю — велю повесить тебя! — не унимался полководец.

— Ну так и жить мне миллион лет, — беззаботно рассмеялся в ответ священник.

— Проводить чудака, — перешел на инфинитив фюрер, обращаясь к красным сапогам адъютанта.

— Куда? — попросили уточнить в ответ.

— Откуда взяли, — уточнил Гитлер.

...Мог бы и повесить, как говорится. А сейчас о. Серафим, поезд которого давно ушёл за время общения с фюрером, остался стоять на берлинской платформе, и тронувшийся вскоре в сторону победы над собой Гитлер ещё некоторое время мог видеть из окна предостерегающую фигуру своего невольного, дружного с волей небес провожатого.

Владыко Серафим жил ещё лет десять после этой встречи.

Только десять.

БОЛОТНАЯ САГА

Морошка — северное приболотное растение. Несмотря на ботаническое определение «приземистая», морошка считается и является одним из самых красивых, самых поэтических образов, растительной музой поэтов-песенников. Ягоды её, оранжево-желтые костянки, широко используются как в кулинарии, так и в народной медицине. Они обладают деликатным вкусом и, говорят, чудодейственной силой.

* * *

Летом в Нью-Йорке бывает невыносимо душно, и мистер Завалишин, он же господин, пан, а когда-то товарищ, товарищ младший лейтенант, — расстёгивает верхние пуговицы рубашки. Из-под распахнутого воротника выглядывают страшные, красные, поперечные шрамы.

* * *

О жизни старого писателя в эмиграции, видно, хорошо сказано Арсением Тарковским в стихотворении «Верблюд»:

Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям,
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

Здесь, как говорится, — опять же писателями, а именно Ильфом и Петровым, *было всё*: расстрел отца в тридцатые; университет; смерть сестры; работа в колонии для малолетних преступников (уничтожив родителей, соответствующие органы остановили бдительный взгляд на подростке Завалишине; юноша в это время работал в колонии; махнули рукой: его и так прибьют; потом же сгодился: началась война); война; плен; перемещение; безответная любовь; стихи бессонных лет, сгоревшие в пламени пожара; сухомытка; дешёвые бары; преодоление смертельных болезней; старость.

Последнего могло не быть, кабы не особая милость великого, святого родственника.

* * *

Как мало нужно порой, чтобы вывести из себя сильных мира сего. Андриан Ладожско-Ильменский был восприемником у юной царевны Анны, первой дочери Ивана Грозного. Митрополит Макарий, готовившийся к «Стоглаву», вызвал его. Вскоре Андриан поссорился с Иваном: мнительный Иван усмотрел обидный для своей особы намёк в словах, зачитанных Андрианом вслух:

«Соизмеряйте милостью наказание».

«Знаю, знаю, к чему ты клонишь, — вскипел царь. — Новгородцам своим милость вымалываешь?! Тому не бывать! Им не милость нужна, а плётка железная!»

Не менее дерзкими показались ему следующие два изречения Андриана:

«Русь надо спасать от людей нежалостливых».

«Негоже церкви Христовой дыбарей* (*палачей) подменять».

Последовал постриг.

Андриан стал вскоре первым мокрым делом пригретого царём Малюты Скуратова.

Подкараулив монаха, пьющего воду из ручья, люди Малюты выстрелили сзади из лука; далее Малюта раздробил ему затылок дубиной... Искалеченное тело привязали к хвостам лошадей, пустили в поле... Казнь, а вернее, мародерство, происходило на глазах у жителей деревни, специально согнанных смотреть «вназидание»... Труп, раскачав, бросили в болото.

Через два года он всплыл — без малейших признаков тления, и даже увечья.

* * *

На Ладожье весна приходит поздно. Над буроватым ковриком из мха и прошлогодней травы расцветают, взлетают стаями к солнцу, к лазоревому небу розово- и белокрылые цветы.

Святые мощи потревожили ещё раз через четыре столетия: в двадцатых годах (нашего века) большевики делали «инвентаризацию», то есть вскрытие святых мощей, в частности, в Свято-Николаевском монастыре на Ладожском озере. Клавдий Завалишин, отец нашего писателя, доводившийся к тому же пра- пра... правнучатым племянником Игумена Андриана, ходил на вскрытие гроба святых мощей, как родственник. Подойдя, наклонившись — отпрянул: увидел самого себя, лежащего во гробе. До того разительно было сходство. Единственно только, волосы лежащего были седыми, в то время как склонившегося над ним Клавдия — золотисто-русыми.

Он так и не успеет поседеть.

...Теперь от этого монастыря не осталось камня на камне.

Год — сорок второй.

Место действия — война.

...После пыток гестаповцы швырнули русского лейтенанта, пытавшегося бежать из плена, в подвальную комнату, на пол. Бросили подышать: пленный все равно больше не был нужен.

Горела искромсанная грудь, ныли переломанные рёбра; натекшая кровь приклеила голую спину к полу. Он успел отметить всё это, приходя в сознание на несколько секунд. И ещё, подумать:

«Пить».

...Неизвестно, как долго длилось небытие в муках... Чьи-то руки легли на раскалённый лоб. Знакомый голос отчётливо сказал:

— Вставай, племяш. Проголодался, небось. Я тут тебе поснедать принёс.

...Открыв глаза, в слабом свете, поступающем из щели окошка, увидел отца... да нет, святого Андриана, — седого, в чёрном монашеском одеянии, с горшком топлёного молока в одной руке и с корзинкой пиро... впрочем, только с одним большим открытым пирогом-ватрушкой — в другой. Не тратя времени и сил на объяснение чуда, молодой человек приподнялся, выпил до дна поданное молоко и принялся за ватрушку. Ел с наслаждением — ватрушка оказалась с морошкой — чувствуя, как с каждым принятым кусочком прибывают откуда-то силы. Раны болели меньше.

«Не уходи», — подумалось.

— А я побуду с тобой тут, — успокоил Андриан.

...И вот, в страшном подвале гестапо состоялась спасительная беседа двух родственников, представлявших две замечательно криминальные эпохи. Один собеседник возлежал на окровавленных досках пола, другой парил в слабом светеподвального оконца.

... — Ну что ж, — угадывая привычку молодости заглядывать вперёд, в будущее, сказал Андриан, уходя, вернее, растворяясь в воздухе, — больших высот ты не достигнешь... Но жить будешь долго.

Эти последние слова своего святого родственника чаще других вспоминает, старея, седея, Вячеслав Клавдиевич Завалишин, русский писатель в изгнании.*

(*В. К. Завалишин умер поздней весной -1995г.)

ИШДАВИКАС

Каждой весной прекрасная Литва белеет ландышами, желтеет одуванчиками... Их дом стоял на холме, с которого было видно далеко вокруг. В начале войны, детьми, смотрели, как по дороге мимо пшеничного поля шли немцы вереницей на восток, наступая, а в конце войны потянулись по этой же дороге на запад, отступая...

Однажды во дворе появился русский офицер, ведущий пленного немца. Немец оставлен был снаружи, русский вошёл в дом и попросил поесть. Мать накрыла на стол; стала беседовать с гостем на языке, которого дети тогда не понимали. Запомнилось только слово *предатель*, сказанное русским о немце*! (*по-литовски — *Isdavikas*, «ишдавикас»). Старшая сестра выскользнула во двор с куском хлеба для пленного. Русский это заметил и рассердился, стал угрожать девочке оружием, а мать долго просила за неё прощения: мол, молодая, глупая ещё... Потом они уходили: впереди — голодный немец, сзади — злой русский...

Иногда всплывает другое воспоминание, чуть более раннее, из тех, о которых не принято рассказывать вслух. И вот, наш герой подносит ладонь к переносице, прикрывает глаза и мысленно прокручивает для себя эту запретную короткометражку памяти.

...Старший брат Патрис, который потом, в шестнадцать лет, умрёт от туберкулёза, держит его за руку. Улица большого города, Риги, куда отец звхватил их с собой, приехав по каким-то своим делам, что-то купить, что-то по хозяйству... Запах жасмина, солнечные зайчики... Мимо — странная процессия: немцы в униформах конвоируют абсолютно голых людей. Любопытные на обочине. Парень из местных быстро подходит с топором к процессии, замахивается и бьёт по голове обнажённого старика с растрёпанной бородой; тот неловко падает, заливаясь кровью* (*Случай с учёным А. Дубновым в Риге). Несколько явно сконфуженных немцев топчутся на месте, не зная как поступить с телом; потом, оставив его лежать на дороге, догоняют остальных. Кто-то из толпы бросает в лежащего недоеденным яблоком, кто-то другой шипит: «меш-шлас»* (*дерьмо — лит.), и непонятно, то ли это об убитом старике, то ли о не доевшем яблока.

...Мёд... Ему всё чаще снится дикий мёд. Отец, отправляясь за дровами, берёт с собой мальчишек. Весело стучит топор в роще. Старый конь Ширмокас* (*Сивка-лит.) стоит и жуёт губами, братья носят к телеге тонкие сучья, помогают отцу укладывать нарубленные дрова, а перед тем как тронуться в обратный путь получают от отца по куску добытого в роще лакомства: дикого мёда в гнездообразных сотах... Ему как младшему достаётся первый и самый большой кусок.

Нет ничего вкуснее, чудеснее дикого мёда.

Среди немцев был один, почти старик, в униформе. Он подкармливал детей мармеладом. И он, ближе к концу войны, всё чаще и чаще повторял одну и ту же фразу на плохом литовском: «*Ne be reikalingas susiristi su Rusijos...*» («Не нужно было связываться с русскими...»)

И вот, пронёсся слух, что русские скоро придут сюда, что они совсем близко. Вечером отец приказал упаковывать вещи. Но уже утром выяснилось, что русские давно пришли, что они в соседних деревнях, слева и справа, а их просто обошли, обделили вниманием. Потом появились и здесь: молчаливые, спокойные, совсем не такие страшные, как о них думалось, как рассказывали. Отец с матерью распаковали вещи — бежать было некуда — и стали жить дальше.

В тени деревьев цвели ландыши, на солнце — одуванчики. Вдоль дороги тянулось пшеничное поле. Отец всеми силами держался за свою землю, где-то до пятьдесят четвёртого года. Наконец, не выдержав налогов, примкнул к колхозу... Тёмные от работы руки; голубые глаза... Детей было семеро, однако большой семьёй жили недолго. Как-то скоро самый старший брат женился, Патрис умер от туберкулёза, сёстры вышли замуж, он уехал учиться в Вильнюс, и

мать с отцом остались одни, как и тогда, когда строили этот дом, чтобы жить в нём большой семьёй.

Откуда камни в Литве? Пришельцы из других миров, стихией принесённые в послеледниковый период, что видели они за миллионы лет до рождения первого языческого Бога?

Путь в студию лежит вдоль металлической ограды Кортланд-парка. В правом углу студии, среди других, стоит эта картина. Он написал её в год смерти отца. (Умиравший всё спрашивал, нет ли открытки от сына...) Тяжёлым камнем, нью-йоркским камнем легла на сердце разлука... В сиреновом пространстве, за тысячемильным океаном, рвутся в небо две чёрные скалы, соединившись в скорбный каменный крест.

Сестра учила его складывать буквы в слова — это было удивительное чувство... С соседскими ребятами играли в войну, искали и находили патроны...

Лет десять-двенадцать продолжалось партизанское движение. Партизаны кочевали, оставаясь тем не менее каждая группа в своей зоне: приходили за едой и одеялами одни и те же лица.

Ему было восемь или девять лет, он гнал стадо. Одна корова набрела и наступила в траве на молоденькую кузину Казимиру и партизана по имени Витаутас. Казимира вскочила, смешно подбирая штаны. Он стоял и смотрел, поражённый, на лежащего в траве Витаутаса...

После поступления в Вильнюсскую Академию ему в числе новичков предстояло «крещение». Это выглядело так: всех новеньких закрыли в аудитории, откуда старшекурсники забирали по одному, сажали в мешок и уносили куда-то. Вот и его схватили, посадили в мешок и принесли туда, где вокруг стола сидели преподаватели. Его спросили: откуда, как зовут. Он решил, что над ним издеваются, и отвечать не стал. Тогда они ему сказали: ну ладно, мы дадим тебе имя — Ануприс. Так его и звали на курсе до конца: Ануприс. Учились на одном курсе с Оной, которая стала его первой женщиной. Расстались сразу же после того как *это* случилось, потому что она — Она — потребовала жениться на ней. Потом, много лет спустя, он встречал её в Вильнюсе с ребёнком от какого-то чукчи.

...Ему было двадцать семь. Союз Художников отправил их с товарищем в творческую командировку на военный корабль. Там нужно было провести два месяца. Их же хватило на две недели. Корабль по нескольку дней торчал в море. Товарищ загибался от морской болезни, валялся в каюте. А он рисовал матросов и раздаивал рисунки. Матросы толпились в очереди к художнику с кусками бумаги. Дежурный офицер ругался, обвинял в разложении дисциплины... Они сбежали и оставшиеся до истечения срока командировки дни провели в Севастополе, снимая угол у одной женщины. У этой женщины тогда лет семь как погиб сын-матрос во время взрыва. По странному совпадению, один его, нашего героя, знакомый — учились вместе в школе — служил там же матросом и там же погиб во время взрыва. Женщина рассказывала подробности: офицеры пристреливали матросов, рвущихся из трюмов наверх в безумном порыве спастись. Погибло около двух тысяч.

Ностальгия. Художники и эмигранты, как часто, подолгу и тупо мы смотрим из окон своих студий с немой риторическим вопросом пространству: *«зачем я сюда приехал»*, и хочется при этом умереть, выброситься из равнодушного окна с облупившимся подоконником. Благо если студия находится в подвале.

В этом году будет девятнадцать лет как он говорит красивым леди:

— Можно быть женатым, и в то же время чувствовать себя страшно одиноким...

Сначала там, в Вильнюсе (он тогда жил холостяком в однокомнатной квартире окнами на запад), отложив в сторону красно-зелёный этюд, сидел и сморкался на пол, едва касаясь поверхности носа обкусанным ногтем указательного пальца. Всё равно ведь никто не видел. Потом появилась Ида. Представилась восхищённым искусствоведам. Встряхивая сорокалетней чёлкой, понесла какую-то чушь о своём дедушке-раввине, о диссидентах, о вождях и русских классиках... Так и хотелось сдёрнуть с себя клетчатую рубашку с дырявыми подмышками,

свернуть её вчетверо, нет ввосьмеро, и заткнуть отверстие этого энергичного рта, в котором — с правой стороны — то темнели, то вспыхивали золотые коронки...

...Когда это было? В Вильнюс приехал Сахаров. После выступления Андрея Дмитриевича он преподнёс учёному красно-зелёный этюд. Как он был молод, дерзок в творчестве! Сфотографировались вместе... Интересно, где сейчас этот этюд?

В конце-концов, с тех пор он многим обязан этой женщине. Нужно всего лишь являться домой к шести. (По дороге в спальню умирать от усталости. Громко вслух мечтать о самоубийстве.) Это она привезла сюда его, она продаёт картины глупым американцам и ходит с ним (точнее, ездит — у них есть красный «Вольво») к русско-советской миссии на демонстрацию в защиту Литвы.

...Недавно извлёк одну из голубых композиций. Среди синих, голубых, голубоватых частиц некоей материи, по форме повторяющих выглянувшее из травы достоинство партизана Витаутаса, в нежно-лиловых пузырьках безграничной среды плавают могучие женские формы. Он будет это переделывать, а кое-что убирать, вынужденный уступить мещанским претензиям публики. Иначе никто не купит.

Витаутаса вроде как арестовали и убили, вскоре же. Где Казимира? Откуда он знает. У них не принято поддерживать связь с дальними родственниками. Мать живёт в доме одна. Младшая сестра звала её к себе, но мать отказалась: здесь, говорит, я сама себе хозяйка.

...Однажды — и это было в Вильнюсе — к нему прибежал друг, тоже Владас, тёзка. Вид его был ужасен. С ним произошло следующее: пришёл к любовнице — а их у наших тёзок было множество — но лишь разделись и улеглись в постель, как неожиданно вернулся домой двухметровый супруг. Женщина пошла на отчаянный шаг: открыв дверь мужу, схватила и увлекла его в ванную, уверяя по пути, что у того «что-то на лице». «Что на лице, что на лице...» — бубнил недоумевающий рогоносец, а герой-любовник, схватив в охапку свою одежду, выскочил на лестничную площадку и побежал, одеваясь на ходу.

В кооперативной квартире, в тёплой душной спальне, заставленной и завешенной литовскими сувенирами («Опять эта ослица Ида...») иногда не спится ночами. Думается о деньгах. Нехватает почему-то именно четырёх миллионов.

«Господи, Господи, Господи, Господи. Приди и сотвори...»

Потом — в висок гловной болью:

«Господи, почему я одинок? Я одинок, и не знаю зачем живу».

...И приснится ему однажды голос флейты. Дом на холме, запах ландышей. По одуванчиковому полю, по гигантским валунам-пришельцам, в жаркое Никуда уйдёт комически сторбленный силуэт отца.

P.S. И ещё: сестра учила в детстве складывать буквы вслова. Нно это, может быть, кого-то другого:

— Ida-vi-kas ...Иш-да-ви-кас...

СЕРЕБРЯНЫЕ ЛОЖКИ

Трэйн* (*поезд метро). Закрываю глаза. Дремлю стоя. Дремлется. Спится. Снится...
О чём рассказал старик Подосинников.

Постель умирающего была окружена сбежавшимися родными. Все вслушивались в его тихие последние слова. Говорить становилось всё труднее, и снохи-вдовы приближали ухо / уши — каждая по уху — к его слабеющим губам.

— ...У Пожарском разместили нас... у школы. Спалы на полу вповалку... Тогда багато нас, и багато диток полегло у дорози с голодной Украины...

На остановке «168 Street» села на освободившееся место. Джентльмен моего возраста, и может быть даже, на несколько месяцев моложе, смотрит на меня с лёгким упреком: он сесть хотел, да не успел. Американским джентльменам не свойственно уступать место даме, а, скорее, наоборот! Я вижу его в профиль. Невольно (про себя) сочувствую: «Ах, Вы, кажется, беременны. Но простите. Я так устала...» Снова закрываю глаза — хорошая школа поведения в сабвее. Старик Подосинников продолжает:

— ... Галя, Паша, поправьте подушку... Вышче. Вышче... Як тяжко. Все вповалку... У Приськи на нич жар. Наутро слабисть. Кашляла... Так кашляла... 3 кровю... Уже в цем райкоме дали нам направление-распределение. Нас да Пинчукив в Надаровку. И дали, прислали пидводу. Пинчуки поихали... Мы зза Приськи остались. Школу трэба освобождать, скоро там уроки начнуться. Моим хлопцям Остапу да Андрию — тож в школу пора збыраться, в надаровську. И ось. Просыпаюсь — тихо. Так тихо. Потрогав ии за плэчо. Взяв за руку — вся холодна. Захолола. Похоронылы в Пожарськом... У то врэмья начався розлив... На Востоке розлив буває, вы жеж знаете, осинью, нэ вэсною... Бурлыть вийшов з бэрэгов. Нэма бильше дороги в Надаровку, нэма шоссэйки. Прыходить тут человек з райкому и говорить: «Найшлы смельчака, шо пэрэправыть вас на лодци.» Зибрав я вещи, взяв сынов, Андрию з Остапом було по одынацять, а Васыль... Васылю два з половыною... Посадыв я його на дно. И була у нас одна цэнность. Серебряные ложки. В узелку... Приська, ще молодая колы, служила у Чернигови, у дохтора... Докторская жинка, як Приська засобыралась замуж за мэнэ, розплатылась з нею за роботу цымы ложкамы. Так мы жылы з нымы... Як з семейной драгоценностью. Бириглы до особого случая. Ось и голод погнав з Украины. А ложки ти булы з намы... Як надия... Тут лодка, выдно, стовкнулась з каким-то брэвном пид водою. Так стукнулась, и взмылы в воздух одновременно Васыль и той узелок. В одын мыг... И опомныця не успив, як оказались в моих руках — схватить успив — ложки. Нэ було врэмэни подумать, шо схватить... Васыль... Тильки и успив шо крыкнуть: «Мамо!» Скрывся пид водою. Человек покругив-покругив скільки мог в том месте... Галя, поправ подушку... Поселылысь з Пинчукамы в одной хати, так було зыму. Хлопци, Андрий, Остап, пийшлы в школу... Выросли, женылысь... Война... Нэ вэрнулысь... А ложки ти в чулане зараз... Голод був... Поихав в Бикин на базар. Хотив обминять на хлеб для вас, но один знающий чоловік сказав: «То нэ серебро, то железо.» Никто не брав... Паша... Галя... Простить мэнэ. Прощ...

Затих, вытянулся на лежанке, устремив в потолок выцветшие очи. Тётя Галя гладила его остывшие ладони, а тётя Паша кружила по хате в поисках медных пятак, но, так и не найдя — на меня, маленькую девочку, посланную за солью взаймы, никто не обращал внимания — по совету-команде тёти Гали и ещё кого-то, направилась в сторону чулана. Вот они развернули серенький полуистлевший узелок... Стали трудиться над прикрытием глаз лежащего свёкра, с двух сторон прикладывая по серебряной, а вернее, по железной ложке...

Моя остановка. Выходить. Беременный джентльмен, усевшийся на мое место, провожает взглядом-упрёком: «Ну и леди пошли!» Шепнула выходя: «Forgive me, please.» («Простите меня пожалуйста».)

Неужели в душе Его так и не найдётся места для прощения?

БЕЗРУКИЕ МАТЕРИ

— Баю-баюшки-баю,
Спать укладываю,
Спать укладываю
Уговариваю...

...Ну вот, жили-были два брата да сестрица... Родители у их померли, дак росли оне одне... Выросла сестрица-красавица. Посватался к ей парень из дальнего села — она и пошла за его. Вот живут-поживают... Дитё у их родилось... Дак невзлюбили те братья своево зятя. Пришли оне как-то ночью и убили... А сестрице отрубили руки по самые плечи, посадили ребёночка на горбушку и пустили её куда глаза глядят...

Вот идёт она так, идёт... Уж солнце занялось, печёт... Пить ей хочется... Видит колодец полный водицы, да боится наклониться — ребёночка уронить...

...Снится земляничная поляна. Поют птицы, пахнет горько-сладкой травой. Пыльная дорога ведёт через холмы к старой пасеке. Алеет на солнце спелая ягода... Просыпаюсь от дикого вопля. Кричит соседка справа, debilка Аллочка. Она всегда кричит. Беспощадно светит в глаза больничный фонарь.

«For Monsenior Bruce Kent (from member of Group for Establishing Trust and Confidence between East and West)

Glory to Jesus Christ.

It's now about two months since I've been kept — as punishment for my peace persuasions — in Ward 33 of a psychiatric hospital. So far, I am unable to describe to you how they managed to get me here, fully neglecting both the legal laws of this country and the conventional rules of decent behavior. I can only state that right now I am actually a prisoner wearing a stamped, striped robe and tied by stockings to the folding cot. My daughter managed to convey to me here two handkerchiefs you gave me once. One of them I gave to a patient- epileptic in my ward — she likes that very much. And the Parish Mass book — also present from you — I keep it now under my pillow.

....I feel compelled to have conversations with people calling themselves psychiatrists. They are constantly trying to make me discuss politics — a subject that I absolutely refuse to uphold. The moment I try to explain my un-ability to conduct a talk like this ("...to a first comer»), I am being interrupted.

They won't let me see my daughter...»

«Монсиньору Брюсу Кенту (от члена Группы Установление Дружбы и Доверия между Востоком и Западом)

Слава Иисусу Христу.

Вот уже два месяца как я нахожусь — в наказание за мои мирные убеждения — в отделении №33 психиатрической больницы. Не могу описать, как со мной здесь обращаются, полностью игнорируя как законы сей страны, так и общепринятые правила приличия. Могу лишь констатировать тот фаст, что я в сей час действительно заключенная, одетая в штампованный полосатый халат и чулками привязанная к койке-раскладушке.

Моей дочке удалось передать сюда два носовых платка, которые Вы мне подарили когда-то. Один из них я отдала больной-эпилептичке их нашего отделения — уж очень ей понравился. Молитвенник (Parish Mass book) — тоже Ваш подарок — сейчас хранится у меня под подушкой.

...Меня принуждают разговаривать (то есть «беседовать») с людьми, которые называют себя психиатрами. Они постоянно навязывают мне дискуссии на политические темы — предмет, каковой обсуждать с ними мне не интересно. Когда же я хочу объяснить им

свою несклонность поддерживать разговор такого рода («...с кем попало» — про себя), они перебивают меня.

...Мне не разрешено видеть мою дочь...»

Я знаю, где этот колодец: не доходя до старой пасеки, под высоким тополем, уходящим своим зелёным куполом в небо; вода в том колодце чистая, холодная, вкусная.

Только вот бабушка следит за нами — девчонками, подружками-ягодницами. Она не разрешает нам пить сразу много:

— Тётынька Наталья, соседка, померла: так же вот в жару как сегодня дорвалась до холодной воды, выпила ковшов десять или двенадцать сразу. Так подхватила воспаление лёгких и померла... Царство Небесное...

За спичками. Привезли пожилую женщину по фамилии Никитина: в обеденный час вышла из дома купить спички. Опираясь на костыли (перелом бедра), она ковыляла в сторону киоска купить спичек. Здесь её поймали, арестовали, велели паспорт показать* (* как в песне «Цыплёнок жареный»), но паспорта при ней не было. Её обыскали, отняли костыли, и привезли в психушку; насильно колют аминами* (*нейролептик усыпляющего действия)...

Я вижу её испуганные глаза.

Я слышу её тихий стон.

Когда-нибудь (может быть завтра, а может быть спустя годы) ей сообщат, что утром за час до её похода за спичками, «при неизвестных обстоятельствах» погиб её единственный сын Владимир Никитин, диссидент.

«Эта ручка нам не нужна — обнимала чужого».

Боль справа.

«И эта ручка нам не нужна — обнимала чужого».

Боль слева.

На шее, сзади, вцепившись в воротник платья, её голодный ребёнок...

...Но жажда... И вот она подходит к колодцу, наклоняется... И ребёночек падает вниз....

Обычно у бабушкиных сказок были счастливые концы. Как так случилось, что я заснула, не дослушав до конца эту, мою любимую сказку, сказку о Безрукой Матери?

Мой гид — хрупкий женский силуэт, мелькает между берёзами, оборачиваясь, машет мне ладошками:

«Не отставай, не отставай!»

Я не успеваю за ней. Устала, шлёпаюсь на землю, кричу вслед:

— Баба, что было дальше? Ну правда, баба, что было дальше?!

В ответ — тишина деревенского кладбища... Стоны... Матерщина дежурных сестёр (почему они матерятся так много?) Слепота за окнами небьющихся окон...

Хуже любого амина, любого укола для матери, разлука с её ребёнком.

Лишь пару раз я видела мою дочь из окна палаты, стоящую внизу на улице, похудевшую, съёжившуюся от холода в лёгкой старой курточке. Как хочется мне (не только одной мне) стукнуть кулаком по небьющемуся стеклу, разбить и вылететь наружу, полететь вниз на чёрный асфальт, глотая по пути свежий уличный воздух...

Женщина в белом Добрая сестра Мария — она одна лишь зовёт нас по имени (остальные по номерам) — суёт мне записку, найденную в кабинете заведующей во время уборки:

«Мама, я уезжаю в Вильнюс до понедельника, посмотреть Казюкас. Поезд №193. Я вернусь в понедельник, не волнуйся, всё будет хорошо. Только жалко, не увидела тебя в окне...»

Теперь я понимаю, почему они весь вечер не давали мне приблизиться к окну.

— Мария...

Мария даёт мне валидол от сердечной боли.

О Вильнюсе я знаю только, что это город — столица Литвы, где раз в году люди празднуют наступление весны, праздник зовётся «Казюкас».

Весна наступает в наших календарях... Скоро утро. Головная боль. Подушка, мокрая от слёз.

Поезд №193, должно быть, прибыл в Вильнюс.

Я взмываю над раскладушками... Делаю круг вдоль стен, окон — нигде ни щелки, чтобы протиснуться...

Упираюсь крыльями в потолок — нечеловеческое усилие — и корпус больницы отрывается от чёрного асфальта.

Птицей в огромной каменной клетке лечу на Запад, в сторону Вильнюса. Я вижу дом в темноте. Внутри кудреватый рисунок полуразрушенных поручней... Моя девочка идёт вверх в поисках приюта на ночь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.